

Письма из Тулы. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

Письма из Тулы. Борис Леонидович Пастернак

I

На воле заливались жаворонки, и в поезде, шедшем из Москвы, везли задыхавшееся солнце на множестве полосатых диванов. Оно садилось. Мост с надписью "Упа" поплыл по сотне окошек в ту самую минуту, как кочегару, летевшему впереди состава на тендере, открылся в шуме его собственных волос и в свежести вечернего возбуждения, в стороне от путей, быстро несшийся навстречу город.

Тем временем там, здороваясь на улицах, говорили: "С добрым вечером". Некоторые прибавляли: "Оттуда?" -- "Туда", -- отвечали иные. Им возражали: "Поздно. Все кончилось".

"Тула, 10-го.

Ты, значит, перешла, как уговорились с проводником. Сейчас генерал, освободивший место, проходя к стойке, поклонился мне, как доброму знакомому. Ближайший поезд в Москву в три часа ночи. Это он прощался, уходя. Швейцар открывает ему двери. Там шумят извозчики. Издали, как воробьи. Дорогая, эти проводы были безумием. Теперь разлука вдесятеро тяжелей. Воображенью есть с чего начать. Оно меня изложет. Там подходит конка, и перепрягают. Поеду осматривать город. О тоска! Забью, затуплю ее, неистовую, стихами".

"Тула.

Ах, середины нет. Надо уходить со второго звонка или же отправляться в совместный путь до конца, до могилы. Послушай, ведь будет светать, когда я проделаю весь этот путь целиком в обратном порядке, а то во всех мелочах, до мельчайших. А они будут теперь тонкостями изысканной пытки.

Какое горе родиться поэтом! Какой мучитель воображение! Солнце -- в пиве. Опустилось на самое доньшко бутылки. Через стол -- агроном или что-то в этом роде. У него бурое лицо. Кофе он помешивает зеленой рукой. Ах, родная, все чужие кругом. Был один, да ушел свидетель (генерал). Есть другой еще, мировой, -- не признают. Ничтожества! Ведь они думают, свое солнце похлебывают с молоком из блюдец. Думают, не в твоём, не в нашем вязнут их мухи, чокают кастрюли у поварят, брызжет сельтерская и звонко, как языком, щелкают целковые о мрамор. Пойду осматривать город. Он в стороне остался. Есть конка, да не стоит; ходьбы, говорят, минут сорок. Квитанцию нашел, твоя была правда. Завтра навряд поспею, надо будет выспаться. Послезавтра. Ты не беспокойся -- ломбард, дело терпит. Ах, писать -- только себя мучить. А расстаться нет сил".

Прошло пять часов. Была необычайная тишина. На глаз нельзя стало сказать, где трава, где уголь. Мерцала звезда. Больше не было ни живой души у водокачки. В гнилом продаве мшаника чернела вода. В нем дрожало отражение березки. Ее лихорадило. Но это было очень далеко. Очень, очень далеко. Кроме нее, не было ни души на дороге.

Была необычайная тишина. Бездыханные котлы и вагоны лежали на плоской земле, похожие на скопления низких туч в безветренные ночи. Не апрель, -- играли бы зарницы. Но небо волновалось. Пораженное прозрачностью, как недугом, изнутри подтачиваемое весной, оно волновалось. Последний вагон тульской конки подошел из города. Захлопали откидные спинки скамей. Последним сошел человек с письмами, торчавшими из широких карманов широкого пальто. Остальные направились в зал, к кучке весьма странной молодежи, шумно ужинавшей в конце. Этот остался за фасадом, ища зеленого ящика. Но нельзя было сказать, где трава, где уголь, и, когда усталая пара поволокла по дерну дышло, бороня железкою тропу, пыли не было видно, и только фонарь у конного двора дал тусклое понятие об этом. Ночь издала долгий горловой звук -- и всё стихло. Это было очень, очень далеко, за горизонтом.

"Тула, десятое (зачеркнуто), одиннадцатое, час ночи. Дорогая, справься с учебником. Ключевский с тобой, клал сам в чемодан. Не знаю, как начать. Ничего еще не понимаю. Так странно; так страшно. Тем временем, как пишу тебе, все

Письма из Тулы. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru продолжается своим чередом в другом конце стола. Они геньяльничают, декламируют, бросаются друг в дружку фразами, театрально швыряют салфетки об стол, утерев бритые рты. Я не сказал, кто это. Худший вид богемы. (Тщательно зачеркнуто.) Кинематографическая труппа из Москвы. Ставили "Смутное время" в Кремле и где были валы.

Прочти по Ключевскому, -- не читал, думаю, должен быть эпизод с Петром и Болотниковым. Это и вызвало их на Упу. Узнал, что поставили точка в точку и сняли с другого берега. Теперь семнадцатый век рассован у них по чемоданам, все же остальное виснет над грязным столом. Ужасны полячки, и боярские дети страшней. Дорогой друг! Мне тошно. Это -- выставка идеалов века. Чад, который они поднимают, -- мой, общий наш чад. Это угар невежественности и самого неблагоприятного нахальства. Это я сам. Дорогая, я опустил тебе два письма. Я их не помню! Вот словарь этих (зачеркнуто, брошено без замещения). Вот их словарь: гений, поэт, скука, стихи, бездарность, мещанство, трагедия, женщина, я и она. Как страшно видеть свое на посторонних. Это шарж на (оставлено без продолжения)".

"2 часа. Вера сердца больше, чем когда еще, клянусь тебе, придет время, -- нет, дай вперед расскажу. Терзай, терзай меня, ночь, не все еще, пали дотла, гори, гори ясно, светло, прорвавшее засыпь, забытое, гневное, огненное слово "совесть". (Под ним черта, продравшая местами бумагу.) О, гори, бешеный нефтяной язык, озаривший полночи.

Завелся такой пошиб в жизни, отчего не стало на земле положений, где бы мог человек согреть душу огнем стыда; стыд подмок повсеместно и не горит. Ложь и путаное беспутство. Так тридцать уже лет живут и мочут стыд все необыкновенные, стар и мал, и уже перекинулось на мир, на безвестных. В первый, в первый раз с далеких детских лет я сгораю (зачеркнуто все)".

Новая попытка. Письмо остается неотосланным.

"Как описать тебе? Приходится с конца. Иначе не выйдет. Так вот, и позволь в третьем лице. Я писал тебе о человеке, прогуливавшемся вдоль багажной стойки? Так вот. Поэт, ставящий отныне это слово, пока не очистят огнем, в кавычки, "поэт" наблюдает себя на безобразничающих актерах, на позорище, обличающем товарищей и время. Может, он кокетничает? Нет. Ему подтверждают, что его отождествление не химера. Подымаются, подходят к нему. "Коллега, не разменяете ли трешку?" Он рассеивает заблуждение. Бредутся не одни актеры. Вот двугривенных на три рубля. Он отделяется от актера. Но дело не в бритых усах. "Коллега", -- сказал этот подонок. Да. Прав. Это свидетельское показание обвинения. В это время происходит новое, сущий пустяк, по-своему сотрясающий все случившееся и испытанное в зале до этого момента.

"Поэт" узнает наконец прогуливавшегося по багажной. Лицо это он видел когда-то. Из здешних мест. Он видел его раз, не однажды, в течение одного дня, в разные часы, в разных местах. Это было, когда составляли особый поезд в Астапове, с товарным вагоном под гроб, и когда толпы незнакомого народа разъезжались со станции в разных поездах, кружившихся и скрещивавшихся весь день по неожиданностям путаного узла, где сходились, разбегались и секлись, возвратясь, четыре железных дороги.

Тут мгновенное соображение наваливается на все, что было в зале с "поэтом", и как на рычаге поворачивает сцену, и вот как. -- Ведь это Тула! Ведь эта ночь -- ночь в Туле. Ночь в местах толстовской биографии. Диво ли, что тут начинают плясать магнитные стрелки? Происшествие -- в природе местности. Это случай на территории совести, на ее гравитирующем, рудоносном участке. "Поэта" больше не станет. Он клянется тебе. Он клянется тебе, что когда-нибудь, когда он увидит с экрана "Смутное время" (ведь поставят его когда-нибудь), экспозиция сцены на Упе застанет его совсем одиноким, если не исправятся к тому времени актеры и, топтавшись однажды весь день на минированной территории духа, останутся целы в своем невежестве и фанфаронстве сновидцы всех толков".

Пока писались эти строки, из будок вышли и поплелись по путям низкие наспальные огоньки. Стали раздаваться свистки. Пробуждался чугунок, вскрикивали ушибленные цепи. Мимо дебаркадера тихо-тихо скользили вагоны. Они скользили давно уже, и им не было числа. За ними росло приближение чего-то тяжело дышащего, безвестного, ночного. Потому что стык за стыком за паровозом близилось внезапное очищение

Письма из Тулы. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru путей, неожиданное явление ночи в кругозоре пустого дебаркадера, появление тишины по всей шире семафоров и звезд, -- наступление полевого покоя. Эта-то минута и храпела в хвосте товарного, нагибаясь под низким навесом, близилась и скользила.

Пока писались эти строки, стали составлять смешанный елецкий.

Писавший вышел на перрон. Была ночь на всем протяжении сырой русской совести. Ее озаряли фонари. По ней, подгибая рельсы, медленно следовали платформы с веялками за брезентом. Ее топтали тени и оглушали ключья пара, петушками выбивавшиеся из клапанов. Писавший обогнул вокзал. Он вышел за фасад.

Ничто не изменилось на всем пространстве совести, пока писались эти строки. От нее несло гниlostностью и глиной. Далеко, далеко, с того ее края, мерцала березка, и, как упавшая серьга, обозначался в болотце продав. Вырываясь из зала наружу, падали полосы света на коночный пол, под скамейки. Эти полосы буянили. Стук пива, безумья и смрада попадал под скамейки за ними. И еще, когда замирали вокзальные окна, где-то поблизости слышался хруст и храп. Писавший прохаживался. Он думал о многом. Он думал о своем искусстве и о том, как ему выйти на правильную дорогу. Он забыл, с кем ехал, кого проводил, кому писал. Он предположил, что все начнется, когда он перестанет слышать себя и в душе настанет полная физическая тишина. Не ибсеновская, но акустическая.

Так он думал. По телу его пробежала дрожь. Серел восток, и на лицо всей, еще в глубокую ночь погруженной совести выпадала быстрая, растерянная роса. Пора было подумать о билете. Пели петухи, и оживала касса.

II

Только тогда улегся наконец в городских номерах на Посольской чрезвычайно странный старик. Пока писались письма на вокзале, номер подрагивал от легких шажков, и свечка на окне ловила шепот, часто прерывавшийся молчанием. То не был голос старика, хотя, кроме него, не было ни души в комнате. Все это было удивительно странно.

Старик провел необычайный день. Он пошел опечаленный прочь с лужайки, когда узнал, что это вообще не пьеса, а покудова вольная еще фантазия, которая станет пьесой, как только будет показана в "Чарах". Сначала, при виде бояр и воевод, колыхавшихся на том берегу, и черных людей, подводивших связанных и сшибавших с них шапки в крапиву, при виде поляков, цеплявшихся за ракитовые кусты по обрыву, и их секир, нечувствительных к солнцу и не издававших звона, старик стал рыться в своем собственном репертуаре. Он в нем не нашел такой хроники. Тогда он решил, что это из довременного еще ему, Озеров или Сумароков. Тут-то и указали ему на фотографа и, назвав "Чары", учреждение, которое он ненавидел от души, напомнили, что он стар и одинок и времена другие. Он пошел прочь, удрученный.

Он шел в старых нанковых штанах и думал о том, что на свете нет уже никого, кто бы звал его Саввушкой. День был праздничный. Он грелся на рассоренных подсолнушках.

Сквозь низкую грудную речь его заплевывали новым. В высоте рыхло, коломом, таял месяц. Небо казалось холодным, удивленно далеким. Голоса были промаслены еденым и питым. Рыжик, ржаная коврижка, сало и водка пропитали даже эхо, соловевшее за рекой. На иных улицах былолюдно. Грубые оборки придавали бабам и юбкам особую рябость.

Бурьян ни на шаг не отставал от гулявших. Подымалась пыль, слипая глаза и застилая лопух, клубами бившийся о плетни и пристававший к платьям. Палка казалась куском стариковского склероза. Он опирался на это продолжение своих узловатых жил судорожно и подагрически плотно.

Весь день у него было такое чувство, будто он побывал на не в меру шумной толкучке. Это были последствия зрелища. Оно оставило неудовлетворенной его потребность в трагической человеческой речи. Этот молчаливый пробел и звенел в ушах у старика.

Весь день он ходил больной тем, что не услышал с того берега ни одной пятистопной строчки.

А когда настала ночь, он присел к столу, подпер голову рукой и задумался. Он решил, что это смерть его. Так не похожа была на последние его годы, горькие и ровные, эта душевная смута. Он решил достать из шкапа ордена и предупредить кого-нибудь, хоть швейцара, все равно кого, а меж тем все сидел, ожидая, что, может, это так, пройдет.

Мимо, тенькая, протрусила конка. Это шла последняя к вокзалу.

Прошло с полчаса. Сияла звезда. Кроме не было ни души кругом. Было уже поздно. Горела, зябла и дрожала свеча. Волновался размягченный силуэт этажерки в четыре черных струи. В это время ночь издала долгий горловой звук. Далеко, далеко. На улице хлопнули дверью и заговорили взволнованно-тихо, как подобает в такую весеннюю ночь, когда вокруг ни души и только в номере наверху -- свет и растворено окошко.

Старик встал. Он преобразился. Наконец-то. Он нашел. Ее и себя. Ему помогли. И он бросился пособлять этим намекам, чтобы не упустить обоих, чтобы не ускользнули, чтобы впитаться и замереть. Он достиг двери в несколько шагов, полузакрыв глаза и размахивая рукою, спрятав подбородок в другую. Он вспоминал. Вдруг он выпрямился и бодро прошелся назад, не своим, чужим шагом. По-видимому, он играл.

"Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна, -- произнес он, и откашлялся, и сплюнул в платок, и вновь: -- Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна", -- произнес он -- и не стал кашлять, и теперь это вышло похоже.

Он стал шевелить руками и бросаться воздухом, будто пришел с непогоды, раскутывается, скидывает шубу, Он подождал, что ему ответят из-за переборки, и, будто не дождавшись, спросил: "Разь вы не дома, Любовь Петровна?" -- все тем же чужим голосом, и вздрогнул, когда, как это полагалось, на расстоянии двух с половиной десятков лет услышал за той перегородкой милое, веселое: "До-о-ма". Тогда опять, и на этот раз всего сходней, с иллюзией, которая составила бы гордость иного его брата в таком положеньи, он протянул, как бы возясь в табаке и косым поглядываньем по переборке расстраивая части речи: "М-м, -- а виноват, Любовь Петровна, -- а Саввы Игнатъевича что ж -- нету?"

Это было уже слишком. Он увидал обоих. Ее и себя. Старика душили беззвучные рыдания, шли часы. Он плакал и шептал, была необычайная тишина. А тем временем, как старик содрогался, и беспомощно обжимал платком глаза и лицо, и трясся, и мял его, мотая головой и отмахиваясь, как хихикающий, когда он давится и дивится, как это, прости господи, как это он цел еще и его не разорвало -- на путях стали собирать смешанный елецкий.

Он в течение часа консервировал в слезах, как в спирту, свою молодость, и когда у него не стало слез, все распалось, унеслось, исчезло. Он сразу потускнел и будто запылится. И тогда, вздыхая, как виноватый, и позевывая, стал укладываться спать.

Он тоже брил усы, как все в рассказе. Он тоже, как главное лицо, искал физической тишины. В рассказе только он один нашел ее, заставив своими устами говорить постороннего.

Шел поезд в Москву, и в нем везли огромное пунцовое солнце на множестве сонных тел. Оно только что показалось из-за холма и подымалось.

Апрель 1918

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

Письма из Тулы. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!